

## Язык–Сталин: «Марксизм и вопросы языкознания» как лингвистический поворот во вселенной СССР

Ирина Сандомирская

*Введение: Сталин с нами*

Эмансипация языка, которой отмечены российские 1990-е, сменяется новым лингвистическим патернализмом путинского периода. Можно думать, что в пространстве «советскости» закончилась очередная оттепель, которую, за неимением другого, более содержательного термина, мы именуем с помощью приставки «пост». Эмансипированный язык—наряду с дерегулированной экономикой ведущий признак «пост-советскости»—уступает место новой нормализации языка.<sup>1</sup> Своего рода нео-нео-сталинистский поворот (производный от брежневского неосталинизма) в рядах работников культуры, как и среди ее (культуры) рядовых пользователей, требует восстановления централизованного контроля за языковым употреблением. В вопросах языкознания снова, как и прежде, Сталин с нами.

В спор с этим публицистически острым высказыванием вступает филологическая осторожность относительно собственного выбора слов. «Нео»—это приставка столь же содержательно пустая, сколь и приставка «пост». «Сталинизм» и «советскость» суть простые и довольно пустые слова для обозначения сложных и множественных, для нас еще во многом непонятных реальностей.<sup>2</sup> Что

1 См., в частности, работу Лары Рязановой-Кларк в этом томе.

2 Ср. размышления о многосоставности и идеологической сложности нацизма в исследовании о немецкой лингвистической науке периода Третьего Рейха: Christopher M. Hutton, 1999, *Linguistics and the Third Reich: Mother-Tongue Fascism, Race, and the Science of Language*, London & New York, pp. 1–11.

мы имеем в виду, говоря «Сталин», «язык», «СССР»? В этой статье я обращаюсь к тексту, в котором поставлены те же вопросы, что задаю себе и я, и даже даны на них исчерпывающие ответы, которые не подразумевают дальнейшего вопрошание. Это произведение Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» (1950), в котором я вижу, с одной стороны, автопортрет Сталина и его прозорливое истолкование собственного значения в символической экономике СССР. С другой стороны, лингвистические фрагменты Сталина рисуют картину послевоенной технократической утопии СССР, картину режима в состоянии идеологического кризиса и лингвистического поворота. Обстоятельствами лингвистического поворота «Сталин» определяются категории свободы слова и принуждения, в том числе и условия эмансипации языка после падения советского режима, и новейшие тенденции реставрации.

#### *Идиома Сталин: ордер на амнезию*

Выступление И.В. Сталина, мудрого вождя и учителя советских народов, с рядом указаний и разъяснений по вопросам языкознания в связи с дискуссией на страницах «Правды» является наиболее выдающимся и самым волнующим событием последнего времени в идейной жизни нашей страны.<sup>3</sup>

Эта формулировка, открывающая комментарии «От редакции» Известий академии наук СССР по отделению литературы и языка к сталинской работе «Марксизм и вопросы языкознания», не содержит в себе преувеличения. Высказывания Сталина есть выражение воли народа. В силу этого и сам Сталин есть фигура плана выражения, или, как вскользь отметил Жак Деррида, «имя в кавычках, своего рода идиома».<sup>4</sup> Высказывание Сталина—«ряд указаний и

3 *Известия Академии Наук СССР: Отделение литературы и языка* 9 (1), 1950, с. 30. Далее ссылки на этот источник указываются только номером страницы в скобках после цитаты.

4 Именно в связи с этим соображением мне представляются не вполне верными ни острополюмическая концепция Сталина как художника авангарда у Бориса Гройса, 1993, «Стиль Сталин», *Утопия и обмен*, Москва, с. 11–19, ни ироническая концепция писателя-Сталина у Михаила Вайскопфа, 2001, *Писатель Сталин*, Москва. Замечание Деррида, которое, несмотря на трижды в разное время за-

разъяснений по вопросам языкознания»—есть попытка самоистолкования. Отдавая указания о том, как следует думать о языке, Сталин тем самым разъясняет фигуру «Сталин»: гиперозначающее СССР, то выражение коллективной интенции СССР, которым является он сам.

Также и со стороны нации восхваление вождя и выражения восторга его словами—не пустая риторика и имеют под собой фундамент опыта. Именно опыт проявляет себя в особой интонации: заклинания, моления, восхищения. СССР, говорящий устами своей академической элиты, выражает благодарность Сталину за то, что Сталин, в свою очередь, так удачно выражает его, СССР, существо: высказывание Сталина есть «наиболее выдающееся и самое волнующее событие последнего времени». В чем заключается феноменологическое основание этого восторга, объяснить не приходится. Как выразился в том же номере «Известий» маститый участник дискуссии, «незачем вспоминать о том, что известно каждому советскому гражданину» (62). Высказывание Сталина санкционирует коллективную амнезию, радикальное изменение в СССР «идейной жизни», т.е. изменение означаемого. «Известный каждому советскому гражданину» опыт предшествующих лет уже «незачем вспоминать», поскольку победивший внутренних и внешних врагов СССР уже больше не нуждается в памяти этого опыта для легитимации собственного бытия. Получив санкцию на амнезию, советский гражданин не может не чувствовать благодарности и облегчения. В откликах советских лингвистов на выступление Сталина навязчиво повторяется один и тот же мотив: «теперь безопасно», и одна и та же фигура речи: вновь образовавшегося, в результате интервенции Сталина в языкознание, «безграничного» простора и отсутствия «необходимости замыкаться».

Но советским лингвистам нет больше необходимости замыкаться в рамках изучения какой-нибудь одной проблемы или круга проблем [...] Поскольку «сфера действия языка, — по определению И.В. Сталина, — почти безгранична», так как язык, по самой

---

данный данным автором Жаку Деррида вопрос, так и осталось без дальнейших комментариев, см. *Жак Деррида в Москве: Деконструкция путешествия*, под ред. М. Рыклина, Москва, 1993, с. 167.

своей природе, связан с человеческой деятельностью в самом широком смысле этого слова, задачи науки о языке почти безгранично расширяются [...] Советские историки языка получили все необходимые указания для быстрого и плодотворного развертывания своих исследований [...] (31–32)

Сталинская доктрина языка—это и свобода, и граница одновременно, свобода благодаря ограниченности:<sup>5</sup>

Труды И.В. Сталина [...] служат непроницаемым щитом. (72); Своим решительным, необычайно живым и ярким выступлением в защиту здравого смысла и свободы научного изыскания Иосиф Виссарионович Сталин вырвал русскую лингвистику из плена [...] (63)

Желание защиты и спасения, которое воплощается в бесконечно повторяемые слова-фетиши—«Сталин», «язык», «марксизм», «социализм», «будущее»—распространяется до глобальных масштабов «всего человечества», которое желает также быть спасенным от закабаления «американским империализмом».<sup>6</sup> Сам грамматический строй языка уже является защитой:

Именно ввиду того, что грамматический строй и основной словарный состав языков проявляют большую устойчивость и колоссальную сопротивляемость насильственной ассимиляции, рушились планы американско-английских, турецких и иных ассимиляторов и поработителей народов [...] Сталинские положения о языке вооружают передовых людей всех стран на борьбу

5 Ср. сходство этой фигуры воображения—спасительного замкнутого простора—с метафорой *containment* в американской доктрине холодной войны и с фантазмами мира как замкнутого пространства в различных кибернетических фикциях, в частности, в жанре фантастического фильма. Paul N. Edwards, 1996, *The Closed World: Computers and the Politics of Discourse in Cold War America*, Cambridge & London; Alan Nadel, 1995, *Containment Culture: American Narratives, Postmodernism, and the Atomic Age*, Durham & London.

6 Г. Ф. Александров и др., ред. 1952, *Вопросы теории и истории языка в свете трудов И.В. Сталина по языкознанию*, Москва, с. 5.

за свою национальную и государственную независимость против империалистических поработителей.<sup>7</sup>

«Полчища наемных идеологов [...] впадают в бессильное бешенство» и издают «скрежет зубовный» при виде теоретических и практических успехов социализма, «трумэны—черчилли—эттли вот уже сколько лет воюют», «мерзкий строй капитализма» стремится установить на земле «вечный строй империалистического рабства».<sup>8</sup> В ответ на это Сталин призывает языковедов «не знать страха», не впадать в истерику.

На языковедческом фронте русской филологической науки статьи И.В. Сталина по вопросам языкознания являются актом первостепенной важности. Это—отрезвляющий голос разума, спокойное научное слово, сила которого лежит в его несокрушимой логике и в убедительной ясности мысли, сталинской мысли, уже столько раз выводивших страну из самых тяжелых, бесконечно более трудных, нередко отчаянных, положений. (62)

Языковеды не ошибаются, интерпретируя сталинские высказывания о языке и языкознании как иносказание о советском режиме. Всем понятно также, кто скрывается под кличкой «талмудистов и начетчиков»: те немногие, которые, верные марксистской теории государства, все еще ждут его отмирания. Такие ожидания никак не могут оправдаться:

Если *политически* выступления за немедленное отмирание Советского государства есть прямая измена социализму [...] то *теоретически* такое требование есть измена марксизму, революционной диалектике и переход на позиции софистики, схоластики, самого махрового идеализма, переход на позиции врагов марксизма.<sup>9</sup>

7 Александров и др., ред. 1952, с. 6.

8 Александров и др., ред. 1952, с. 17–18.

9 Александров и др., ред. 1952, с. 13–14.

Государство—иносказательно поименованное языком, языкознанием—не отмирает, но радикально видоизменяется. Как я уже отметила в начале, в нем отныне устанавливается новый режим амнезии: здесь «незачем вспоминать», потому что время памяти и истории заменяется внутренним временем языка. Ликование языковедов связано не только с освобождением от воспоминаний, но и с некоторым обещанием, которое они читают между строк в работах Сталина, предчувствуя ранее невозможную, но теперь становящуюся реальной возможность

сознательно организованного единого наиболее совершенного языка в социалистическом обществе будущего, обществе, сплошь образованном и способном намного более, чем нынешнее, к *технизированному подходу к своей речи*. (71, выделено мной. И. С.)

Престарелый академик прозревает в косноязычной речи Сталина его, Сталина и сталинского СССР, собственное будущее: будущее языка «единого», «наиболее совершенного», языка «сознательно организованного». Это язык «общества будущего», такого, в котором царит тотальное просвещение и «сознательная организованность». Это общество «сплошь образованное» и, следовательно, основывающее коммуникацию не на устном общении традиционных культур, но на письменных в широком смысле слова, т.е. *технологических* операциях, технологического контроля и самоконтроля.

Чуткое ухо старого филолога, прислушивающееся к речи Сталина в 1950 году, различает в этой речи то, что сам Сталин не в силах выразить. Речь Сталина, казалось бы, звучит как призыв к возврату, к «нормальности» старой академической филологии и к традициям сравнительно-исторического языкознания XIX века—и именно за это возвращение в спокойную гавань позитивного знания прошлого столетия должен благодарить Сталина повидавший виды ученый. Но в косноязычной речи вождя («я не языковед», предупреждает вождь в преамбуле к своей теоретической работе) языковедческое ухо различает совсем другую музыку. Косноязычное и невнятное, слово Сталина грезит о своей грядущей технологической универсальности. «Технизированный подход к своей речи» означает переосмысление сталинским словом самого себя. Это слово, в кото-

ром тормозящий фактор времени—памяти и истории—больше не имеет никакой актуальности, будучи заменен фактором внутреннего времени языка, времени самосовершенствования его, языка, символических механизмов. Это технологическое время становится объективным временем режима, диктуя утопическую программу глобальной экспансии СССР. Подобно тому, как национальный изоляционизм XIX века фундаментализировался историко-филологическими законами,<sup>10</sup> так и глобальная экспансия СССР в условиях холодной войны фундируется тенденциями развития языковой технологии. Сталин предсказывает таким образом и собственное посмертное существование в качестве универсальной и всеобщей, вневременной инстанции, в качестве внутренней формы СССР.

*Порядок дискурса «Сталин»*

Серия работ Сталина под общим названием «Марксизм и вопросы языкознания»<sup>11</sup> написана в форме диалога:

Вопрос. Верно ли, что язык есть надстройка над базисом? Ответ. Нет, неверно. [...] Вопрос. Верно ли, что язык всегда был и остается классовым, что общего и единого языка для общества неклассового, общенародного языка не существует? Ответ. Нет, неверно. [...] Вопрос. Правильно ли поступила «Правда», открыв свободную дискуссию по вопросам языкознания? Ответ. Правильно поступила. (3–18)

Форму ученого диспута—поиска истины в (псевдо)вопросах и (псевдо)ответах—принимает не только речь вождя, но и весь внутриполитический театр репрессии послевоенного времени. Если террор довоенной поры являет себя в формате массового спекта-

10 Работа Сталина «Марксизм и национальный вопрос» (1913) оказала решающее воздействие на национальный фундаментализм. В ней Сталин также проявляет лингвистическую интуицию, объявляя общность языка определяющим признаком нации. «Марксизм и вопросы языкознания» представляет собой поворот и по отношению к сталинской концепции языка-нации 1913 года: смену геополитического интереса и субъекта геополитики, падение национального и поворот в сторону глобального.

11 И. Сталин, 1950, «Марксизм и вопросы языкознания», *Известия Академии Наук СССР: Отделение литературы и языка* 9 (1), с. 3–29. Далее ссылки на этот источник указываются только номером страницы в скобках после цитаты.

кля—показательного процесса или собрания гневно осуждающих трудящихся, то последние чистки сталинских лет—академические погромы в языкознании, экономике, биологии и теоретической физике—организованы скорее наподобие открытых заседаний учебного совета. Вмешательству карательных органов и ликвидации космополитов и вредителей самых разнообразных дискурсивных деноминаций предшествует обязательный ритуал «обмена мыслями» (термин Сталина) на академическом форуме.<sup>12</sup>

Дискуссия о языкознании свидетельствует о перестройке объекта общественной ненависти, о решительном углублении и расширении конструктивного горизонта этой ненависти и о радикальном изменении формата процедур чистки—поиска истины. Перестройка порядка «дискуссии» как (само)репрессирующего дискурса особенно очевидна в сталинских текстах по языкознанию, в драматургии критической кампании, а также в реакциях научных институций на инициативу вождя. Однако речь идет не о количественном расширении пространства террора. Скорее, здесь можно усматривать глубинное изменение самого режима—а именно, намечающийся в машине репрессии лингвистический поворот и технологический поворот в работе слова как инстанции производства и воспроизводства СССР. «Верно ли? Верно ли? Правильно ли?»—весь текст сталинских работ по языкознанию несет в себе одну нераздельную, неутолимую волю к истине. Публикуется воля к истине, разумеется, в газете «Правда». Воля к истине переопределяет и границы, отделяющие разум от безумия: сталинская критика марризма есть критика иррациональности с позиций просвещения и здравого смысла. Сталин развенчивает Марра и его «учеников» (кавычки Сталина) как носителей больной, глубоко извращенной интенции. Навязчиво повторяющиеся риторические вопросы вождя как будто стремятся терапевтически успокоить, утишить бредовое воображение опасного безумца-донкихота, образумить его от лица здравого смысла:

---

12 Уместно вспомнить, что сталинская интервенция в языкознание не была неожиданной и настолько мало мотивированной, насколько она предстает в воспоминаниях современников. Сталинской реплике предшествовала долгая и изнурительная дискуссия между марристами и антимарристами,—дискуссия, которая сопровождалась всеми возможными «эксцессами» и которая страшно дестабилизировала и теоретический аппарат, и институциональное поле языкознания.



Кому это нужно, чтобы «вода», «земля», «гора», «лес», «рыба», «человек», «ходить», «делать», «производить», «торговать» и т.д. назывались не водой, землей, горой и т.д., а как-то иначе? Кому нужно, чтобы изменения слов в языке и сочетание слов в предложении происходили не по существующей грамматике, а по какой-то совершенно другой? [...] [К]ак уничтожить существующий язык и построить вместо него новый язык в течение нескольких лет, не внося анархию в общественную жизнь, не создавая угрозы распада общества? Кто же, кроме дон-кихотов, может ставить себе такую задачу? (5–6)

Одновременно с переопределением истоков истины и границ безумия намечается и репертуар запретных высказываний, область запрещенного слова. Сталинский «катехизис языковеда» («Верно ли?—Верно. Правильно ли?—Правильно») содержит в себе по существу один вопрос: как говорить о языке и как о нем писать. Вопрос «как писать» подразумевает не только содержание легитимного высказывания о языке, но и прагматическую позицию пишущего, функцию авторства, собственно режим письма. В этой области Сталин вскрывает вопиющие безобразия.

Дискуссия (о языкознании) выяснила, прежде всего, что в органах языкознания [...] господствовал режим, не свойственный науке и людям науки. [...] Создалась замкнутая группа непогрешимых руководителей, которая, обезопасив себя от всякой возможной критики, стала самовольничать и бесчинствовать. [...] Дискуссия не только разбила старый режим в языкознании, но она выявила еще ту невероятную путаницу взглядов по самым важным вопросам языкознания, которая царит среди руководящих кругов этой отрасли науки. (17)

Разобраться с «путаницей взглядов», а заодно и с «руководящими кругами отрасли» и призван сталинский «катехизис языковеда». Как воплощенный здравый смысл, работа Сталина содержит в себе как нормативный вокабуляр, так и нормативный комментарий. Смена режима (письма) подразумевает покончить с «путаницей взглядов» через внесение единого порядка в эти взгляды и единого

порядка в аргументацию. Сталинский текст, таким образом, является собой не только призыв к дисциплинированию мысли в языкознании, не только обоснование языкознания как дисциплины, но собственно дисциплину как таковую: предписательный, дисциплинирующий и наказывающий характер сталинского слова, несмотря на риторические игры («Верно ли?»). Говорение о языке должно уметь само себя править, само блюсти собственные критерии истины и само себя корректировать, не дожидаясь вмешательства органов. Новый порядок дискурса—сталинский стандарт говорения о языке—объединяет в себе требование научной *дисциплинарности* с требованием *дисциплинированности*.

*Тотальная познаваемость языка: принцип демократического тавтологизма*

Сталин формулирует определение языка, в котором язык предстает перед нами в неотразимой простоте и ясности—как мы убедимся позже, обманчивой:

Язык есть средство, орудие, при помощи которого люди общаются друг с другом, обмениваются мыслями и добиваются взаимного понимания. (12)

Весь текст Сталина как будто пронизан иронически-снисходительной усмешкой вождя: язык—ведь это так просто. Как можно не понимать таких простых вещей? Несколько раз Сталин дает волю этому своему непониманию непонимания, придавая ему интонацию добродушно-отеческого журеня: некоторые наши товарищи исказили; наши уважаемые товарищи не поняли и т.д. Затем добродушная усмешка сменяется многозначительными кавычками при обозначении Марра и его «учеников». Затем—еще более острыми сарказмами в адрес пока еще безымянных «гадателей на кофейной гуще» и «изобретателей труд-магической тарабарщины». В одном из сталинских лингвистических фрагментов—в ответе «Товарищу А. Холопову», позволившему себе сопоставить высказывания о языке, сделанные Сталиным в ходе дискуссии, с его же более ранними теоретическими выкладками—добродушная ирония вождя находит себе мишень в образе «талмудистов и начетчиков». Намечается,

таким образом, зловещее и красноречивое усмотрение врага в толкователе. Разворачивается война интерпретаций. Враг—это тот, кто неправильно толкует. Враг—это тот, кто «не вникает в существо дела». Это тот, кто «цитирует формально». Евангельские и антисемитские коннотации сливаются в тоне общей угрозы; «талмудисты [...] неизменно попадают в безвыходное положение» (27).

Враг—это агент вредной герменевтики. Враги—это те, кто «видят букву марксизма, но не видят его существа, кто заучивает тексты выводов и формул марксизма, но не понимают их содержания». (28). Задача обезопасить язык от наскоков «талмудистов и начетчиков» сводится на данном этапе борьбы к *предупреждению* их герменевтической речи, поскольку именно в речи «талмудиста» таится опасность. «Талмудист»—это тот, кто «*может сказать*», и задача науки о языке—заранее, еще до того как «талмудист» откроет рот, предотвратить его речь:

Какие-нибудь начетчики и талмудисты, которые, не вникая в существо дела, цитируют формально, в отрыве от исторических условий, *могут сказать*, что один из выводов, как безусловно неправильный должен быть отброшен [...] Начетчики и талмудисты *могут сказать*, что это обстоятельство создает невыносимое положение [...] (курсив мой. И.С.)

Речь идет не о том, что конкретно кто-то может сказать нечто несанкционированное, но о том, что существует сама потенциальность несанкционированной, непредусмотренной речи. Факт существования этой потенциальности следует связывать с тем, что язык в том беспорядочном, запущенном состоянии, в каком застаёт его строгий взгляд вождя, недостаточно готов выявлять, отражать и подавлять потенциальность талмудической и начетнической речи *в самом себе*. Кроме того, не готова отвечать необходимости такого самоподавления речи в языке и «языковедная наука», состояние которой вызывает озабоченность.

«Правильно ли поступила „Правда“, открыв свободную дискуссию по вопросам языкознания?» (16) Да, «Правда» поступила, конечно, правильно. Не только потому, что разоблачила пресловутый «аракчеевский режим» Марра в языкознании. «Правда» вскрыла

не только негативные явления в стиле руководства. Главное—она вскрыла преступную халатность науки по отношению к объекту исследования. Она

выявила ту невероятную путаницу взглядов по самым важным вопросам языкознания, которая царит среди руководящих кругов этой отрасли науки. До начала дискуссии «ученики» Н.Я. Марра молчали и замалчивали неблагоприятное положение в языкознании [...] Оказалось, что в учении Н.Я. Марра имеется целый ряд прорех, ошибок, неуточненных проблем, неразработанных положений. (17)

Марр и его «ученики», таким образом, замолчали и скрыли от советского народа один важный факт, а именно—факт принципиальной и полной познаваемости, заведомой контролируемости языка. Культивируя «невероятную путаницу взглядов», «ученики» Марра только после выступления «Правды» были вынуждены признать, что в языке нет ничего непознаваемого, что неизвестность, неоднозначность, двусмысленность и вообще открытость множественным, и в том числе противоречивым толкованиям—это не признак природы языка, но результат вредительской халатности «талмудистов и начетчиков», допускающих существование неполноты или прерывности в языке. Развенчание марризма—это критика собственно языка в его дискретности и заведомой неполноте. Верным может быть только то, что не характеризуется ни «ошибками», ни «прорехами» интерпретации: истина—это нечто такое, что не провоцирует интерпретацию на неполноту или на противоречивость. Сталин как будто обещает, что под его теоретическим покровительством язык обретет полную и абсолютную, заведомую познаваемость, гарантированную от ошибок и недоговоренностей, от неизвестности и от многосмысленности—он берется устранить, стало быть, «безобразия», устранив прежде всего «безобразников»—Марра и его «учеников». Сталин видит перед собой утопическую картину языка предельной открытости и всеобщей доступности. Не может быть скрытых пружин в языке как средстве, при помощи которого «люди общаются друг с другом, обмениваются мыслями и добиваются взаимного понимания». Это язык, демократизм и понятность, про-

зрачность и познаваемость которого достигается тотальной тавтологией: поскольку он заведомо гарантирован от «ошибок и прорех», в пределах этого языка нельзя сказать ничего, что открывало бы «прореху» в толковании этого языка—т. е. нельзя сказать ничего такого, чего бы в этом языке уже не было *до и помимо всякого высказывания*. Тотальный тавтологизм такого общепонятного и общепознаваемого языка заключается в том, что этот язык как будто уже заведомо породил и содержит в себе любое будущее (высказывание). Никакой новый жест не открывает будущее и не прибавляет к языку ничего нового, жест лишь реактивирует в языке то, что в нем уже и так и было, и есть. В этом отношении делать высказывание или не делать его—совершенно безразлично, поскольку всеобщего и неизменного языка от акта высказывания не становится ни больше, ни меньше, и в качественном отношении он (язык) также остается тем, чем был—всегда-уже всеобщим и всегда-уже вечным. Именно в этом тавтологическом смысле следует понимать и социалистическую демократию, и именно к такой демократии Сталин зовет примкнуть народы в качестве убежища в их борьбе с империализмом. Именно такую свободу предлагает Сталин и «группе товарищей из молодежи», обратившейся к нему за конкретными разъяснениями по вопросам языкознания.

*Автометодология Сталина: Сталин как внутренняя форма СССР*  
Единый и целостный, без прорех и ошибок, абсолютно прозрачный и не содержащий в себе ни словов, ни перерывов, ни иных дефектов, язык порождает заведомо никому не нужные высказывания, которые, не достигая мира, возвращаются обратно на то же самое место порождения, и при этом язык не претерпевает никаких количественных, ни качественных изменений—таков язык в воображении Сталина, и читатель не может не отметить явное присутствие в этой картине элементов автопортретирования. Перед нами не просто картина языка как вечного двигателя, но, что гораздо интереснее, так же и автопортрет Сталина. Перед нами Сталин как язык, а также и как метаязык для истолкования самого себя. Работа Сталина носит, таким образом, автоматодологический характер: это, косвенным образом, попытка самоописания Сталина на основе внутренне присущих ему, Сталину, законов.

В размышлениях вождя даются указания и требования, как читать Сталина, как понимать его высказывания и как толковать их. Сталин так и называет себя, «Сталин», подчеркивая тем самым свой собственный статус как объективной данности, которая развивается, совершенствуется и улучшается (как он указывает в отношении языка) «по своим внутренним законам»: «тов. Холмогоров ссылается на произведение Сталина», «вывод, взятый из доклада Сталина», «брошюра Сталина относительно марксизма в языкознании» и т.д. (27–28). Сталин формулирует правила собственной герменевтики:

Формула Сталина в его брошюре, в части, касающейся скрещивания языков, имеет в виду эпоху до победы социализма в мировом масштабе [...] Именно эти условия имеет в виду формула Сталина, когда он говорит, что скрещивание, скажем, двух языков дает в результате не образование нового языка, а победу одного из языков и поражение другого. Что же касается другой формулы Сталина [...] то здесь имеется в виду другая эпоха [...] (28)

«Наше слово само себя толкует и объясняет», — так говаривал адмирал Александр Семенович Шишков, объясняя божественную природу русского языка и его преимущества перед профанными языками западной Европы. Нормализация и стандартизация говорения о русском языке, попытку которой Сталин предпринимает в своих работах по языкознанию, — это в сущности нормализация Сталиным Сталина. Норма обретается в тавтологии, а также в практиках герменевтической процедуры, которые предписываются к исключительному применению при толковании высказываний этого языка. Это процедура, которая имеет не только свое бытие в синхронности, но и свою генеалогию, соблюдение которой при интерпретировании, цитировании и комментировании так же входит в канон языка «Сталин»:

Ссылаются на Маркса, цитируют одно место из его статьи «Святой Макс», где сказано, что у буржуа есть «свой язык» [...] Этой цитатой некоторые товарищи хотят доказать, что Маркс стоял будто бы за классовость языка [...] Выходит, что товарищи исказили позицию Маркса. А исказили ее потому, что цитировали

Маркса не как марксисты, а как начетчики [...]

Ссылаются на Энгельса, цитируют из брошюры «Положение рабочего класса в Англии» [...] На основании этой цитаты некоторые товарищи делают вывод, что [...] Очевидно, что цитата приведена не к месту [...]

Ссылаются на Лафарга, указывая на то, что Лафарг в свое брошюре «Язык и революция» признает классовость языка. Это неверно [...] Выходит, что ссылка на Лафарга бьет мимо цели. [...] Ссылаются на то, что одно время в Англии английские феодалы «в течение столетий» говорили на французском языке [...] Но это не довод, а анекдот какой-то. [...]

Ссылаются, далее, на Ленина [...] Выходит, что уважаемые товарищи исказили взгляды Ленина. [...] Ссылаются, наконец, на Сталина. Приводят цитату из Сталина о том, что «буржуазия и ее националистические партии были и остаются в этот период главной руководящей силой всех наций». Это все правильно. (8–11)

«Сталин» обозначает, таким образом, две разные инстанции. Одна из них—это корпус текстов под названием «Сталин», которые вместе с корпусом текстов «Ленин», «Энгельс» или «Лафарг» составляют текстуальное тело канона. Другой «Сталин»—он же Сталин, пишущий работу Сталина—это метаязык для интерпретации этих канонических текстов, правила, согласно которым из этого корпуса можно вывести непротиворечивый вывод, воспользовавшись при этом цитатами в их единственно правильном, обеспеченном метаязыковыми процедурами, толковании. Сталин, таким образом,—это алгоритм интерпретации Сталина и порождающая машина для бесконечного воспроизводства Сталина как правильного высказывания. Метаязык-Сталин—внутренняя форма Сталина, собственно дух Сталина как дух языка—обеспечивает целостность, единство и всеобщность СССР как сообщества «общего для всего общества» и единого, неизменного языка.

По аналогии со «всеобщим» языком, СССР есть «всеобщее общество» и имеет своей внутренней формой Сталина, машину тавтологического воспроизводства СССР без разрывов, прорех, без революционных взрывов. Именно цельности СССР и Сталина угрожает халатность «руководителей отрасли» языкознания и по-

рожденная ими герменевтическая «путаница». Особенность же языка-Сталина — всего «неизменности», «большой устойчивости» и «колоссальной сопротивляемости» (14).

Язык-Сталин, не имея прорех ни в своих значениях, ни в своей всеобщности, изменяется только неревOLUTIONным путем: «путем развертывания и совершенствования основных элементов существующего языка» (15). Продолжая концептуальную аналогию между языком и государством, Сталин указывает, каким он видит сценарий саморазвития языка и указывает на прототип языкового изменения в кампании коллективизации сельского хозяйства:

В течение 8–10 лет мы осуществили в сельском хозяйстве нашей страны переход от буржуазного индивидуально-крестьянского строя к социалистическому, колхозному строю. Это была революция, ликвидировавшая старый буржуазный хозяйственный строй в деревне и создавшая новый, социалистический строй. Однако этот переворот совершился не путем взрыва, т.е. не путем свержения существующей власти и создания новой власти, а путем постепенного перехода от старого буржуазного строя в деревне к новому. А удалось это проделать потому, что это была революция сверху, что переворот был совершен по инициативе существующей власти [...] (15–16)

Эта аналогия свидетельствует о том, что идея классовости языка, которую Сталин отвергает как главную ошибку марксизма, еще не полностью исчерпала себя: речь идет все-таки о смене экономического строя языка (или сельского хозяйства) и, видимо, о смене его гегемона. «Революция по инициативе существующей власти» — это примечательное противоречие в терминах. Власть (языка), стало быть, свергает себя по собственной инициативе. Прорехи и сломы, кризисы и антагонистические противоречия, стало быть, не входят в политэкономии сталинского языка, как они входят в политэкономии, например, капитализма. Если в последней накопление количества переходит в новое качество, то в языке «количества» нет, но наблюдается только «постепенное и длительное накопление элементов нового качества, новой структуры языка, путем постепенного отмирания элементов старого качества» (15).



Не имея, казалось бы, количества, язык, тем не менее, не лишен количественного аспекта в том смысле, что он все же представляется как экономия—кругооборот «накопления» и «отмирания», как аналог хозяйства, как всеобщее, вечное и общенародное домоустройство, как воображаемый символический колхоз, в котором уже воплотился идеал коммунистического сообщества, в котором развитие, как известно, должно иметь место не как результат антагонистического противоречия, но как результат неантагонистического накопления нового качества и отмирания старого. В лингвистическом призраке СССР, в этом языке-Сталине, таким образом, в отличие от СССР реального, коммунистическая примиренность всех со всеми и навсегда представляется уже достигнутой. Воплощая в себе Сталина, язык становится, таким образом, и лицом Сталина, и его репрезентацией; и собственно домоустройством и иконой домоустройства.

*Космогония СССР: язык и его технологическая вселенная*

Сталинский миф о лингвистическом СССР, лицо которого является и иконой Сталина, и собственно экономией, чья внутренняя форма устроена по принципу «Сталин», и в которой Сталин является единственной санкционированной процедурой толкования, содержит в себе и космогонический компонент. Сталин выстраивает эту космогонию в попытке ревизии марксистского учения о базисе общества и его надстройке.

Язык, каким он предстает в работе Сталина—это язык, будущность которого провозглашается как всеобщность всех со всеми, со всем и навсегда. Но каков порядок таких всеобщностей и как выглядит его внутренняя иерархия, каковы их начала?

Кроме тривиального утверждения о том, что язык является средством создания этой общности—«орудием общения» для «обмена мыслями»—привлекает внимание тезис о «непосредственности» связи языка со всем и всеми, связанностью «непосредственно с производственной деятельностью человека» (6)—эта *непосредственность*, следует думать, носит характер, подобный *непосредственной* связи («прямому отношению») самого Сталина с марксизмом, о которой он заявляет в преамбуле к своей работе:

Я не языковед, и, конечно, не могу полностью удовлетворить товарищей [спрашивающих о языке. *И. С.*]. Что касается марксизма в языкознании, как и в других общественных науках, то к этому делу я имею прямое отношение. Поэтому я согласился дать ответ на ряд вопросов, поставленных товарищами. (3)

Это означает, что Сталин являет собой марксизм без посредников, он сам и есть собственно и непосредственно марксизм. Точно так же «прямо» и отношение языка к производственной деятельности. Здесь Сталин как будто повторяет марристский тезис: язык—это и есть «производственная деятельность и всякая деятельность человека» (6). Но язык «есть» производство в том же соотношении, в каком Сталин «есть» марксизм. Сталин безграничен в том же отношении, в каком безграничен язык, в его «прямом отношении» к безграничности производства. Во всяком случае, такова «сфера действия языка»: охватывать «все сферы действия» и тем самым быть чем-то, что шире и разностороннее, чем, в частности, сфера действия надстройки. «Она [сфера действия языка. *И. С.*] почти безгранична» (6, курсив мой. *И. С.*). Тем не менее, подчинив сферу действия надстройки сфере действия языка, Сталин делает следующий жест радикального расширения. Не связан язык и с базисом, поскольку базис—экономика—это «всего лишь» посредник между производством и идеологией, обеспечивающий второстепенное, опосредованное положение идеологии, тогда как язык относится к высшему разряду «первых вещей», стихийных элементов «непосредственно». Эта изначальность непосредственного языка, его первичность по отношению ко «всем сферам действия» охватывает весь космос СССР, всю пирамиду от «производства до базиса, от базиса до надстройки», в которой язык располагается или на том же уровне глубинности, что и первоначало «производства», или даже глубже этого первоначала, как некое первоначало первоначала, поскольку «отражает изменения в производстве сразу и непосредственно» (6) и, следовательно, имея возможность «отражать» и «охватывать», принадлежит к порядку реальностей, существующих *до* или *вне* «сферы производства». Язык обретает не только вневходимость по отношению к идеологическому производству—сталинский тезис, практическое применение которого историки назвали «жда-

новщиной»—но, что гораздо существеннее, и вненаходимость по отношению к производству вообще.

Однако в то же время, будучи посажен на самую верхушку в метафизической иерархии первоначал вселенной СССР, «обнимая собой» всю область производства и воспроизводства СССР, язык не является в этой космогонии принципом, творящим *ex nihilo*. Абсолютность языка-Сталина—это абсолютность совершенного инструмента и всеобщность создаваемой этим инструментом среды. Это всеобщность коммуникации, всеобщность среды коммуникации и инструмента коммуникации, которая в своей «непосредственности» исключает инструментальность иных посредников. Язык, при всей своей непосредственности, тем не менее «создан» (а не «дан»), он верховен—однако в «служебной роли», он «служит» и «обслуживает»:

Язык **создан** не одним каким-нибудь классом, а всем обществом, всеми классами общества, усилиями сотен поколений. Он **создан для удовлетворения нужд** не одного какого-либо класса, а всего общества, всех классов общества. Именно поэтому он **создан** как единый для общества и общий для всех членов общества общенародный язык. Ввиду этого *служебная роль языка*, как *средства* общения людей, состоит не в том, чтобы **обслуживать** один класс в ущерб другим классам, а в том, чтобы одинаково **обслуживать** все общество, все классы общества. Этим, собственно, и объясняется, как язык может одинаково **обслуживать** как старый, умирающий строй, так и новый, поднимающийся строй; как старый базис, так и новый, как эксплуататоров так и эксплуатируемых. (4, выделено мной. И. С.)

Таким образом, говорящие на языке—не суть субъекты суверенной власти, но суть клиенты сервиса-монополиста, объекты обслуживания. Сталинская фантазия СССР как сообщества языка будущего приобретает признаки корпоративного, а не коммунистического сообщества. Здесь все объединены языком в общую телесность корпоративной клиентуры: это сообщество тех, для «обслуживания» которых «создан» язык. Можно думать, что в этом странном пассаже Сталин предлагает принципиально новую схему отно-

шений между носителем (языка, культа, гражданства) и вождем: вождь (язык) призван обслуживать всех, а «все», в свою очередь, призваны не просто подчиняться силе вождя, но как бы подписываться на пользование вождем—так подписываются на газету или на рассылку—как если бы вождь был коммуникативной средой и коммуникативным инструментом. Особенно эта инструментальная функция языка, как кажется, завораживает Сталина, который в своем тексте возвращается к ней снова и снова:

В этом отношении язык [...] не отличается [...] от орудий производства, скажем, от машин. (5); [...] между языком и орудиями производства существует некоторая аналогия: орудия производства, так же как и язык, проявляют своего рода безразличие к классам и могут одинаково обслуживать различные классы общества [...] Но зато между языком и орудиями производства существует коренная разница. Разница эта состоит в том, что орудия производства производят материальные блага, а язык ничего не производит или «производит» только слова. (20); Язык жестов так же нельзя приравнять к языковому языку, как нельзя приравнять первобытную деревянную мотыгу к современному гусеничному трактору с пятикорпусным плугом и рядовой тракторной сеялкой. (24)

Язык, его внутренняя форма-Сталин и его означаемое СССР—тело-корпорация, или «сфера», которая, подобно атмосфере или ноосфере, обнимает и пронизывает собой все сообщество СССР—приобретают таким образом свойство единой глобальной технологической среды. Сталин неоднократно описывает это единство и эту технологичность в терминах «безразличия», как подобие «машин, которые так же безразличны к классам, как язык, и так же одинаково могут обслуживать как капиталистический строй, так и социалистический» (5). Отметим еще раз первоначалие языка в этой технологической вселенной: не язык подобен безразличию машины, но машина подобна безразличию языка. Не безразличная машина уничтожает различие, но, наоборот, тотально прозрачный, демократически-тавтологический, безразличный по своей природе язык служит прототипом всякого инструмента и всякой машины.

Это последнее безразличие и есть та самая «всеобщность», в которой собственно различие лишь подтверждает, а не опровергает машинную логику истории:

То же самое можно сказать об украинском, белорусском, узбекском, казахском, грузинском, армянском, башкирском, туркменском и других языках советских наций, которые так же хорошо обслуживали старый, буржуазный строй этих наций, как обслуживают они новый, социалистический строй. (4)

Как «средство для общения», язык определяет общество как машину механического воспроизводства самого себя. Знание в таком обществе также заменяется совокупностью значений языка, определенных с помощью научных объективных методов. Знание науки о языке, так же как и знание языка о мире, заключается в составлении каталогов реальности и в трансмиссии этих каталогов в неизменной форме—подобно «основному словарному составу» языка, который является залогом выживания и самосохранения языка во времени, функция знания состоит в том, чтобы «регистрировать и закреплять», и дисциплины знания должны ориентироваться на абсолютные средства «регистрации и закрепления», которые явлены знанию в языке (12).

Эта машина, в свою очередь, включает в себя уже заархивированные каталоги («основной словарный состав»), которые не меняются никогда и, «безразлично обслуживая» то одну эпоху, то другую, то один класс, то другой, составляют тот фонд, который не изменяется и обеспечивает неизменность, устойчивость и сопротивляемость «всей сфере производства» и воспроизводства СССР. «Основной словарный фонд»—это «строительный материал», тогда как грамматика носит характер абстрактный, геометрический, определяя «отношения тел вообще, лишённые всякой конкретности» (13). Если основной словарный фонд надежно защищен от вмешательства извне «здоровым смыслом» («кому это нужно, чтобы „вода“ [...] называлась не водой?» (5)), то грамматика—абстрактная геометрическая конфигурация—не нуждается ни в ремонте, ни в усовершенствовании, поскольку сама способна к развитию, это машина самообучающаяся и самоусовершенствующаяся. Сталин

неоднократно говорит о том, что «грамматический строй [...] совершенствуется, улучшает и уточняет свои правила» (14).

Превосходство русского языка — языка, средствами которого обслуживается, производится и воспроизводится СССР — составляет предмет эсхатологической доктрины. При этом явственны признаки похолодания международного климата. В самом начале холодной войны политическое воображение вдохновляется не идеологическими фантазмами классовой борьбы и «горячих», революционных конфликтов истории, но технологическими фантазмами соревнования языков как оперативных сред. Есть основания говорить и о том, что и язык, сконструированный в духе требований противостояния двух систем, наподобие, если употребить выражение Бруно Латура, «пространства вычислимости», предвещает наступление нового общественного состояния, и это состояние, фигурируя в речи Сталина под иносказаниями «общества будущего», «общества коммунистического», является обществом корпоративным. Корпоративность больше соответствует духу и техническим требованиям холодной войны, чем классовость. Бесклассовость языка будущего, который Сталин обещает в конце своей работы и к которому я еще вернусь, — это не бесклассовость коммунистического СССР, но бесконфликтность и безразличие СССР корпоративного.

*Паноптизм языка и новый СССР: холод, твердость и прозрачность*  
Новое видение СССР, которое встает перед духовным взором Сталина-языковеда, — это продукт языка как программного обеспечения производства виртуальной среды и средств для связывания людей в корпоративную общность, безразличную к власти времени и места. Это видение скорее предвосхищает собой, чем «отражает» коллективное воображение холодной войны; оно предвосхищает и вектор последующего развития СССР постсталинского периода: кибернетическое движение, системные исследования, научно-технический прогресс и прочие технологические инновации периода оттепели, вызванные к жизни экономикой гонки вооружения. Новый СССР, который еще только брезжит в сталинских лингвистических фрагментах, это СССР тотального паноптизма брежневской эпохи с его фантазматическим, всевидящим, пронизаю-

щим всю плоть корпоративного тела общества суперглазом-КГБ.<sup>13</sup> Как внутреннюю прозрачность общества для «всевидящего ока», так и внешнюю непроницаемость СССР «из-за бурга» обслуживают одни и те же технологические принципы. Это (а) обеспеченная дисциплинированным научным языкознанием демократическая тавтологичность языка, заморозившая реальность речи и диалога во «всегда-уже» своего внутреннего времени; это (б) провоцируемая холодной войной воля к технологии, и это (в) тотальная интернализация нормы в результате паноптизации, превращение нормы в грамматику. Корпоративная телесность постсталинского СССР приобретает признаки «нового льда»: это тело, паноптически прозрачное изнутри и непроницаемое снаружи.

Тело языка вместе со своим внутренним Сталиным оказывается той медиа-вселенной, которая «обнимает собой», подобно оперативной среде, все тело производства/воспроизводства и служит «безразличным» инструментом для своих клиентов-пользователей, объединенных в технологическую корпорацию «средств общения», языком, «общим для общества» и всеобщим во времени.

Но как любая утопия, сталинский нарратив о языке-средстве и об СССР как техносфере безразлично-тавтологической прозрачной корпоративности содержит в себе и нарратив о всемирной катастрофе. Это эсхатологический миф о глобальном технологическом кризисе и о последующем наступлении вечного мира. Именно такова холодная война. Это фигура технологической утопии (языка), фигура эсхатологическая в первую очередь, и лишь во вторую—конкретная реальность «противостояния двух систем». Холодная война как информационно-кибернетический эквивалент конца света требует мобилизации и готовности. Как и все прочие машины в этом идеологически и технологически вооруженном противостоянии двух систем—такими машинами являются у Сталина «органы государства, органы разведки, армия»—язык ни в коем случае не должен подвергнуться демонтажу. Ошибка Марра и его «учеников» заключается в том, что они предсказали именно такой демонтаж: постепенное освобождение языка от какой бы то ни было «техники». Универсальный язык бесклассового общества, по

13 Slava Gerovitch, 2000, *From Newspeak to Cyberspeak: A History of Soviet Cybernetics*, Cambridge, Mass.

Марру, не обслуживается никакими техническими средствами—ни жестами, ни голосом, ни семантикой, ни синтаксисом. Этот язык будущего больше всего напоминает телепатическое общение—хотя Марр, конечно, таких высказываний прямо не делает. Сталин недоумевает, как такое может быть возможно. Холодная война требует не демонтажа языка, но, наоборот, его технологического перевооружения. Это же касается и других машин: государство, разведка, армия в условиях мировой системы социализма не исчезают, но технически совершенствуются, несмотря на то, что классический марксизм требует отмирания этих машин после победы социалистической революции:

Энгельс в своем «Анти-Дюринге» говорил, что после победы социалистической революции государство должно отмереть. На этом основании после победы социалистической революции в нашей стране начетчики и талмудисты из нашей партии стали требовать, чтобы партия приняла меры к скорейшему отмиранию нашего государства, к роспуску государственных органов, к отказу от постоянной армии.

Однако советские марксисты на основании изучения мировой обстановки в наше время, пришли к выводу, что при наличии капиталистического окружения, когда победа социалистической революции имеет место только в одной стране, а во всех других странах господствует капитализм, страна победившей революции должна не ослаблять, а всемерно усиливать свое государство, органы государства, органы разведки, армию [...] (26)

Военная мобилизация «средства общения» у Сталина предусматривается на тех же основаниях, что и милитаризация производства при переходе мирного строительства на военные рельсы. Язык—«орудие коммуникации» легко превращается в язык—«орудие борьбы»:

Следовательно, без языка, понятного для общества и общего для его членов, общество прекращает производство, распадается и перестает существовать как общество. В этом смысле язык, будучи орудием общения, является вместе с тем и орудием борьбы и развития общества. (12)



Холодная война в работе Сталина—это не только и не столько гонка вооружений, но «гонка языков», напряженное соревнование лексических и грамматических систем:

В эпоху до победы социализма в мировом масштабе, когда эксплуататорские классы являются господствующей силой в мире, когда национальный и колониальный гнет остается в силе, когда национальная обособленность и взаимное недоверие наций закрепились государственными различиями, когда нет еще национального равноправия, когда скрещивание языков проходит в порядке борьбы за господство одного из языков, когда нет еще условий для мирного и дружественного сотрудничества наций и языков, когда на очереди стоит не сотрудничество и взаимное обогащение языков, а ассимиляция одних и победа других языков. Понятно, что в таких условиях могут быть лишь победившие и побежденные языки. (27–28)

Технологическая эсхатология языка-Сталина снова оказывается заимствованием из марризма, погром которого собственно и стоит на повестке дня. К признакам остаточного излучения марризма в работе Сталина надо отнести и тезис о скрещивании языков, и представление о политической борьбе как борьбе между языковыми системами (а не нациями или классами). Это не удивительно, учитывая, что, не только сталинская доктрина языка, но и марровская теория тоже была технократической утопией. Марр противопоставил ортодоксальной доктрине *отражения* реальности в слове—конструктивистскую доктрину *производства* реальности в слове. Марровский конструктивизм, несмотря на гонения, оказывается в условиях холодной войны более адекватным языком интерпретации, чем стандартная (ленинская) теория отражения. Сталин не столько самостоятельно строит новую технологическую утопию, сколько экспроприирует дух технократического языкового строительства у «талмудистов и начетчиков», у «гадателей на кофейной гуще» и «изобретателей труд-магической тарабарщины». Он переписывает за собственной подписью и картину технологического рая в будущем, в мире пост-катастрофически примиренных, «мирно и дружественно сотрудничающих наций». Неудивительно, что виде-

ние будущего языка у Сталина также предстает перед читателем в дизайне своеобразного «техно». Этим будущим оказывается мир, глобализованный одним общим языком, окончательно усовершенствованным в своей «служебности» и, следовательно, в своем холодном тавтологическом безразличии, освободившимся от последних остатков дифференции. Как и у Марра, Сталин-язык будущего есть технологический Новый Иерусалим, в котором «времени больше не будет»: это всеобщий, безразличный к различию, успокоенный в своем единстве международный язык.

Глобализация под знаком всеобщего языка-Сталина мыслится как консервативная революция сверху (по аналогии со сталинской коллективизацией деревни), но при этом видится и как технологическая де-эволюция: технология языка достигает такой степени всеобщности, что эволюция поворачивается вспять, саморазворачивается обратно к нулю, когда наступит

[...] эпоха после победы социализма во всемирном масштабе, когда мирового империализма уже не будет в наличии, эксплуататорские классы будут низвергнуты, национальный и колониальный гнет будут ликвидированы, национальная обособленность и взаимное недоверие наций будут заменены взаимным доверием и сближением наций, национальное равноправие будет превращено в жизнь, политика подавления и ассимиляции языков будет ликвидирована, сотрудничество наций будет налажено, а национальные языки будут иметь возможность свободно обогащать друг друга в порядке сотрудничества. Понятно, что в этих условиях не может быть и речи о подавлении и поражении одних и победе других языков. Здесь мы будем иметь дело не с двумя языками, из которых один терпит поражение, а другой выходит из борьбы победителем, а с сотнями национальных языков, из которых в результате длительного экономического, политического и культурного сотрудничества наций будут выделяться сначала наиболее обогащенные единые зональные языки, а потом зональные языки сольются в один общий международный язык, который конечно не будет ни немецким, ни русским, ни английским, а новым языком, вобравшим в себя лучшие элементы национальных и зональных языков. (28)

Восторжествование общего международного языка приходит в результате раз-образования границ на административной карте мира—границ, которые Сталин обсуждает как естественно-исторические, но которые на самом деле проведены если не при его прямом участии, то с его авторитетной санкции. Уличенный в ходе дискуссии «товарищем А. Холоповым» в противоречии относительно скрещивания языков и единого международного языка, Сталин посвящает последний фрагмент своей работы эволюции собственных лингвистических взглядов. Он как будто оправдывается, вновь относясь к себе самому в третьем лице единственного числа и вновь называя себя «марксизмом». В раздраженном ответе «товарищу А. Холопову» Сталин признается в собственном бессилии («марксизм не может») противостоять собственному, помимо собственной воли развитию, не может противостоять той воле, которую являет его собственная внутренняя «геометрия» в процессе ее постоянного самоусовершенствования, не может противиться той воле собственной грамматики к улучшению и уточнению себя, которую он постулирует в грамматике-геометрии языка:

Марксизм, как наука, не может стоять на одном месте,—он развивается и совершенствуется. В своем развитии марксизм не может не обогащаться [...] следовательно, отдельные его формулы и выводы не могут не изменяться с течением времени, не могут не заменяться новыми формулами и выводами [...] (28–29)

«Течение времени» и «новые исторические задачи», равно как и воля военно-технологического разума к самоусовершенствованию собственной «геометрии», оказываются сильнее Сталина («марксизм не может», повторяет он четыре раза в восьми финальных строках своей работы). Они неумолимо влекут, через «скрещивание языков в порядке борьбы за господство», через «ассимиляцию одних и победу других языков», через «победу одного из языков и поражение другого» (27–28)—в неизреченное завтра «общего международного языка», в эпоху глобализации средств и сред коммуникаций—в эпоху абсолютного единого и всеобщего, планетарно-технологического СССР, его корпоративно-оперативной среды и его внутренней формы—Сталина.

*Постскрипtum: «революция сверху» и институциональные структуры языка*

Смена режима истины в поле языка означает смену субъекта авторитетного знания: в реальности сталинского СССР это означало политическую чистку как метод институционального строительства. «Революция сверху» касается не только смены конкретных лиц в «руководящих кругах» (вплоть до их физического уничтожения), но и собственно переустройства этих «кругов». Новая истина диктует новый режим, а новый режим, в свою очередь, поддерживается за счет эксплуатации совсем иных институциональных машин. Ритуалы «обмена мыслями», критерии отбора членов сообщества дискурса о языке, выработка доктрины и наполнение ее пустых ячеек конкретными теоретическими текстами, вопросы номенклатуры, профессионального статуса, формы и форматы компетенции—все эти проблемы решаются тут же, в том же номере «Известий АН СССР», в котором сталинская публикация подводит итоги «дискуссии»: здесь мы находим документы, которые можно в сумме считать конституцией советской лингвистики. Это постановление Президиума АН СССР от 1 июля 1950 года «О состоянии Академии Наук СССР»: «Освободить тов. А., освободить тов Б., назначить тов. В.», «утвердить структуру», «установить штат» и т.д. Это утвержденный состав ученого совета Института языкознания Академии Наук СССР. Это постановление Президиума АН СССР от 26 июля 1950 года «О мероприятиях в связи с реализацией постановления Президиума АН СССР о состоянии центральных органов языкознания АН СССР» (83–84). В начале этой работы я привела образцы хвалебных отзывов академиков на работу Сталина, выражения благодарности за предоставление «безопасности». Постановление Президиума, равно как и целый ряд других административных актов, раскрывают перед читателем эту новую безопасность как реалии институциональной жизни. Академическое языкознание становится элементом в сложном процессе саморазворачивания, самоусовершенствования и самоконтроля тотально прозрачного, тавтологического языка. Это язык-агрегат, который сам себя улучшает и развивает и в ходе этого самостоятельно производит и воспроизводит все свои элементы: идеи, институции, порядки, отношения и субъектности. Имея свой поэтический принцип

«Сталин» в самом сердце своего «внутреннего закона», такой язык не нуждается в инновативном вмешательстве извне ни со стороны идеологии, ни со стороны поэзии. «Безопасность» языковеда, таким образом, гарантирована и с одного критического фланга, и с другого.

Эта двойная безопасность выражает себя в институциональной структуре языкознания как отрасли академического знания. Благодаря вмешательству Сталина, язык получает новую номенклатуру, штаты, бюджеты и т.д. Складывается списочный состав корифеев и классиков: это имена, которые указаны в «Приложении к п. 408 протокола заседания Президиума Академии Наук СССР 26 июля 1950 г.» (85) и которые будут отныне стоять в списках обязательной литературы в учебных планах для студентов и аспирантов всего СССР. Складывается «эпистемологический протокол»: круг исследовательских проблем, предназначенных к обсуждению, «диссертабельные» исследовательские направления и, следовательно, новые возможности институционализации в перспективе. Предмет языкознания, т.е. собственно существенное содержание термина «язык», переопределяется заново (см. например ревизию всех основных разделов языкознания как дисциплины в уже упоминавшемся выше коллективном сборнике «Вопросы теории и истории языка...»). Новый, полученный в результате «революции сверху», «эпистемологический протокол» закрепляется в научных программах целых институтов и лабораторий, в программах теоретических курсов. Так складывается язык-Сталин как объект знания, как предмет эстетического культивирования и как тело манипуляции. При наших незначительных знаниях о социальной антропологии советского языкознания последнего периода, мы можем все же думать, что все институты, сложившиеся в языке благодаря сталинской интервенции, пережили самого Сталина, и период десталинизации; пережили они также и «революцию сверху» перестройки, дойдя до наших дней почти в первоначальном виде. В поле языка, в его мифопоэтике, в его «внутренних законах», в институциональных механизмах—езде здесь Сталин с нами, и присутствие его в сфере символического в настоящее время ощущается еще более настоятельно, чем в какой-либо иной области, политической или идеологической.